

The background of the cover is a dark, textured surface, possibly wood, with a large, torn piece of deep red velvet fabric. A pair of ornate, silver-colored scissors is positioned diagonally across the center, with its blades open. Through the tear in the velvet, a fiery, orange and yellow scene of a city with onion domes, likely Moscow, is visible, suggesting a historical event. Scattered around the base of the scissors and the tear are small, dried lavender flowers and some loose threads. In the bottom right corner, there are two spools of thread, one gold and one silver.

НОЖНИЦЫ ИМПЕРИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
«Первый разрез» (1694–1701)

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

МАРК СЕВЕРИН

18+

Марк Северин

**Ножницы империи. Часть первая:
Первый разрез (1694–1701)**

«Автор»

2026

Северин М.

Ножницы империи. Часть первая: Первый разрез (1694–1701) /
М. Северин — «Автор», 2026

Один дерзкий совет царю по поводу тесного камзола навсегда меняет судьбу Алексея. Отныне он — тень за троном, человек, чьи ножницы отсекают прошлое и создают будущее. Ему предстоит пройти путь от московских задворков до ателье Амстердама и Лондона, чтобы вернуться и совершить невозможное: переодеть страну, которая сопротивляется переменам. Но у близости к власти есть цена. Когда в примерочную заходит фаворитка царя Анна Монс, Алексей понимает, что его искусство может стать его гибелью. Ведь он единственный, кто видит в ней не «куклу» в корсете, а живую женщину, которой нужно дышать. Это история о том, как создавалась новая Россия — стежок за стежком. О страсти, спрятанной в складках бархата. О «Книге тел», где записаны тайны самых опасных людей империи. И о пожаре, который может уничтожить всё, кроме мастерства.

© Северин М., 2026

© Автор, 2026

Марк Северин

Ножницы империи. Часть первая: Первый разрез (1694–1701)

Глава первая

Лаванда и пепел: Наследство, которое нельзя носить

Мать умирала в четверг.

Алексей запомнил это не потому, что четверг имел какое-то особенное значение, а потому, что по четвергам голландская община Немецкой слободы пекла яблочный «аппельтарт», и на всей Кукуевской улице стоял запах корицы и топлёного масла. Этот запах – масла, корицы и чего-то ещё, тёплого, сдобного, невыносимо живого – навсегда сплетётся для него со смертью. Так уж устроена человеческая память: она прибавляет горе к пустякам, как портной прибавляет ткань к болвану – булавками, намертво, чтобы не сползло.

Маргарита ван дер Хольт лежала на узкой кровати в задней комнате их домика на Разгуляе – там, где московская грязь уже подступала к чистеньким голландским палисадникам Немецкой слободы. Комната была крошечная: три шага в длину, два – в ширину. Но мать ухитрилась и в этой каморке устроить кусочек Амстердама – беленые стены, на окне занавеска из лионского шёлка, на подоконнике – делфтская плитка с мельницей, привезённая из прежней жизни, как привозят горсть земли с родины.

– Лёша, – сказала она.

Мать звала его «Лёша». Не «Алексей», не «Алексис», как звали его соседи-немцы, не «Алёха», как окликали на рынке московские торговки. «Лёша» – на голландский манер, с мягким «л» и протяжным «о», так что имя звучало как что-то среднее между нежностью и вздохом.

– Лёша, сундук.

Он знал, какой сундук. Тот самый. Дубовый, с медными уголками, с замком, который мать никогда не открывала при нём – по крайней мере, так ему казалось. В детстве он думал, что там золото. Потом, лет в двенадцать, решил, что книги – мать читала по-голландски, по-французски и по-немецки, и в этом доме было больше языков, чем стульев. В пятнадцать он подобрал ключ, когда мать ушла на рынок, – и разочаровался: ткани. Просто ткани. Лоскуты, образцы, отрезы – свёрнутые, переложённые лавандой и полыньёю от моли. И тетрадь – толстая, в телячьей обложке, с рисунками.

Тогда он разочаровался. Сейчас – нет.

– Ткань – это язык, – сказала Маргарита ван дер Хольт, и каждое слово давалось ей как последний стежок иглой, которая уже тупа и не лезет в ткань, но ты всё равно давишь, давишь напёрстком. – Научись на нём говорить с королями.

Она умерла на рассвете, когда за окном заорал петух соседа Кнаппе – мерзкая птица, которую Маргарита ненавидела все шестнадцать лет, что прожила в Москве, и которая, по иронии судьбы, пережила её на целых три года, после чего была торжественно съедена на свадьбе кнапповской дочери.

Алексей закрыл матери глаза. Потом сел на пол рядом с кроватью и просидел так до полудня.

Пришла соседка, голландка Якоба Стрейс. Подняла его. Отпоила горячим вином с гвоздикой. Сказала: «Плачь, дурак, легче станет.» И он заплакал, потому что Якоба была един-

ственным человеком, который мог назвать его дураком и при этом обнять так, что становилось ясно: дурак – это не оскорбление, а диагноз, причём лечебный.

Похоронили Маргариту ван дер Хольт на Иноверческом кладбище, рядом с другими голландцами, немцами и шотландцами, которые приехали в Москву за лучшей долей, а нашли здесь, по большей части, ту же самую. Пастор Грегори произнёс проповедь на немецком, и Алексей стоял и думал, что мать, которая терпеть не могла немецкий язык и считала его «пригодным только для ругани и коммерции», сейчас, наверное, вертится в свежевыкопанной могиле.

Отец, Иван Миронов, суконщик, не пришёл. Он умер четырьмя годами раньше – тихо, незаметно, как умирают люди, которых жизнь придавила не одним ударом, а постоянным, ровным давлением: долги, конкуренция, дешёвое английское сукно, которое хлынуло через Архангельск и убило его мастерскую вернее, чем мог бы убить любой пожар. Иван Миронов пил дешёвую брагу из свёклы, от которой не столько пьянел, сколько серел, тускнел, гас, как фитиль в плошке с прогорклым маслом. Умер он от водянки.

Родители встретились в Москве. Маргрит ван дер Хольт приехала в Немецкую слободу в 1678 году – двадцатилетней, одинокой, с рекомендательным письмом от амстердамской портнихи мадам де Фонтевро и с сундуком, в котором лежало всё, что она знала о мире. Иван Миронов жил по соседству, через три дома. Он был молчалив, широкоплеч и единственный из русских мастеров не плевал ей вслед, когда она шла по Разгуляю. Этого оказалось достаточно. Они обвенчались через год – в православной церкви, потому что Иван настоял, а Маргрит было всё равно: Бог, по её мнению, говорил по-голландски не хуже, чем по-церковнославянски. Алексей родился в 1677 году, в Москве, в том самом домике на Разгуляе, и первым, что он услышал, был, вероятно, всё тот же петух Кнаппе.

Алексей остался один.

Ему было семнадцать лет.

У него было: половина домика на Разгуляе – вторую занимал лудильщик Ермолай, человек невероятной худобы и ещё более невероятного запаха; набор инструментов – ножницы, иглы, напёрстки, деревянные лекала, утюг, который нагревался углём; долг в шесть рублей сорок копеек аптекарю Зимке за лекарства для матери; и сундук.

Сундук.

Он открыл его вечером после похорон, сидя на полу в комнате, где ещё пахло лавандой – её лавандой, амстердамской, из саше, которые мать шила собственными руками и раскладывала по всему дому, словно пытаясь заглушить запах Москвы.

В сундуке лежало:

Двенадцать отрезов ткани. Он развернул их один за другим, как развёртывают свитки, и каждый был историей.

Первый – лионский шёлк, густого вишнёвого цвета, с тканым узором из выющихся роз. Ткань была старой – двадцать, может быть, тридцать лет, – но шёлк, в отличие от людей, со временем не дряхлеет, а лишь приобретает ту мягкость, которую люди называют «благородством», а ткачи – «зрелостью утка». Алексей провёл пальцами по поверхности и почувствовал то, что всегда чувствовал при прикосновении к ткани: вспышку. Не мысль, не идею, а именно вспышку – как если бы ткань через кончики пальцев посылала ему образ. Женское платье. Лиф, затянутый до невозможности, но талия – не там, где ставят её в Париже, а чуть выше. Юбка – не колокол, не панье, а что-то текучее, живое, как вода.

Он мотнул головой. Этот дар – или проклятие – был с ним с детства. Мать называла его «руки, которые видят». Отец, более прозаично, говорил: «Парень блажной, но шьёт ладно.» Московские мальчишки, с которыми Алексей дрался на Покровке, звали его «Ведьмак-нитяник». Ему было всё равно. Он знал, что его пальцы умеют то, чего не умеют пальцы других: они слышали ткань.

Второй отрез – фламандское кружево, ришелье, белое, тонкое, как паутина. Алексей поднёс его к свече – и ткань засветилась, как витраж.

Третий – голландская шерсть, тёмно-синяя, того оттенка, который красильщики получали из индиго. Шерсть была выделана так, что на ошупь казалась шёлком. Отец никогда не смог бы выделать такую. Это было искусство, которому учились поколениями – в Лейдене, в Харлеме, в Дельфте.

И так далее – ещё девять отрезков: итальянский бархат цвета тёмного золота, тафта с муаровым отливом, набивной ситец из Калькутты, китайский атлас, расписанный вручную цветами хризантем...

А под тканями – тетрадь.

Он открыл её и понял, что мать оставила ему нечто большее, чем наследство. Она оставила ему путь.

Тетрадь была заполнена рисунками. Платья, камзолы, юбки, корсеты – силуэты, разрезы, выкройки. Рука матери – уверенная, быстрая. Рядом с каждым рисунком – пометки: «Ателье мадам де Фонтевро, Кайзерсграхт, 1671», «Платье для свадьбы баронессы ван Клоостер – заказ не состоялся, барон проигрался в карты», «Фасон, увиденный на прогулке по Тюильри, записала по памяти». И – самое ценное – мысли, записанные по-голландски, мелким, летящим почерком:

«Платье должно не скрывать тело, а договариваться с ним. Тело – не враг, которого надо победить корсетом. Тело – собеседник.»

«Ткань помнит всё: руки ткача, воду, которой промывали нить, воздух, в котором сушили полотно. Хорошая ткань – это биография.»

«В Версале я видела, как мадам де Монтеспан вошла в зал в платье из индийского муслина, и все остальные женщины мгновенно устарили. Одно платье. Одна ткань. Но – правильная. Правильная ткань – это уже половина дела. Вторая половина – ножницы.»

Алексей читал до рассвета. Свеча оплыла, воск залил стол, печь прогорела. Он сидел в шубейке – той самой, русской, овчинной, которую мать презирала, – и читал, и трогал ткани, и каждый отрез посылал ему образы – платья, которых ещё не существовало, силуэты, которых ещё никто не видел.

Она везла не ткани. Она везла будущее.

Утро пришло с грохотом. Стучал Ермолай.

– Лёха! Лёха, отвори, крышу протекло, у меня всё олово залило!

Алексей отворил дверь. Ермолай стоял на пороге – длинный, как жердь, в рубахе, которая, судя по цвету и запаху, помнила ещё коронацию Алексея Михайловича.

– Крыша? – переспросил Алексей.

– Крыша, мать её. Сосулици нарасли – во! – Ермолай развёл руки, и размах жеста поставил под сомнение как его трезвость, так и законы физики. – Потоп, как у Ноя, только без ковчега.

– Ермолай. Крышу я тебе залатаю. Завтра. Сегодня – не могу.

Ермолай сощурился.

– А, маманя... Я ж забыл, прости, Лёх. Баба она была – чистое золото, твоя маманя, хоть и немка.

– Голландка.

– Один хрен – нерусская. Но добрая. Царствие небесное.

Ермолай перекрестился и ушёл. Алексей смотрел ему вслед и думал, что Ермолай – при всей своей немойтой, матерящейся сущности – добр. По-русски добр, без причины, без выгоды, просто так.

Он закрыл дверь. Сел к столу. Открыл тетрадь матери на последней записи. Дата – за два месяца до смерти. Почерк уже дрожащий, буквы пляшут, но мысль ясна:

«Лёша. Ты читаешь это, значит, меня нет. Не плачь слишком долго – слёзы портят зрение, а тебе нужны глаза. Острые, как ножницы. Вот, собственно, всё, что я тебе оставляю: ножницы и глаза. Остальное ты найдёшь сам. Ты уже умеешь видеть ткань – я знаю, ты думаешь, что я не замечала, но я замечала. Я замечала, как ты трогаешь шёлк и замираешь, как кот, учувший мышь. Я замечала, как ты перешиваешь рубахи и делаешь их лучше, чем они были, – и тебе шестнадцать, а ты уже лучше любого мастера на Кайзерсграхт. Это дар. Не зарой его. Здесь, в этой стране, скоро всё изменится. Я чувствую. Этот молодой царь – он безумен, но так, как бывают безумны люди, которые меняют мир. Ему понадобятся не только пушки и корабли. Ему понадобится – облик. Новый облик для новой страны. И тогда тебе понадобится этот сундук. Ткань – это язык. Научись на нём говорить с королями. Целую. Твоя мать, Маргарита, Маргрит, Маргриточка – как звал меня твой отец, единственное голландское слово, которое он выучил, и то произносил неправильно.»

Алексей закрыл тетрадь. Положил руку на обложку – телячья кожа, тёплая, живая.

За окном Москва просыпалась. Гудели кузнечные колокола с Разгуляя. Мычали коровы. Скрипели полозья саней.

Алексей Миронов – семнадцать лет, полуголландец, сирота, шесть рублей сорок копеек долга и сундук с тканями – сидел за столом и думал.

Он ещё не знал, что через три года судьба столкнёт его с человеком, который изменит его жизнь. Он не знал, что столкновение это будет буквальным, и что начнётся оно с пятна от красного вина на скверно сшитом камзоле.

Он ещё ничего не знал.

Но сундук уже был открыт.

Глава вторая

Рейнское на бархате: Краткий курс придворного самоубийства

Немецкая слобода зимой 1697 года выглядела так, словно кусок Гамбурга отрезали тупым ножом, перевезли по морю и бросили посреди московских огородов – бросили небрежно, наискось, так что улицы легли не по сетке, а вразнобой, сообразуясь с рельефом, оврагами и капризами речки Кукуй, которая к зиме превращалась в ленивый, покрытый жёлтым льдом ручей.

Но дома были настоящие – фахверковые, с крутыми черепичными крышами, с палисадниками, в которых летом росли тюльпаны. Зимой тюльпаны спали под снегом, но зато окна светились – жёлтым, тёплым, сальным светом свечей.

Дом Монсов стоял на лучшей улице слободы. Старый Иоганн Монс, виноторговец, умер девять лет назад, но дело продолжала вдова, Модеста Монс, – женщина, которая вела бухгалтерию с точностью до пфеннига и умела одновременно торговать рейнским, венгерским и французским вином, воспитывать дочь и поддерживать те связи, без которых иностранцу в Москве – как рыбе на суше.

Святочное гуляние в доме Монсов было событием, которого Немецкая слобода ждала весь год. Вино текло щедро, играл оркестрик из четырёх музыкантов – два скрипача-немца, виолончелист-итальянец и флейтист неопределённой национальности, – а на столах стояли блюда с жареным гусём, копчёным угрём и пирогами.

Алексей пришёл на гуляние не потому, что был зван, а потому, что его звал Якоб Стрейс, муж соседки Якобы, часовщик. Якоб часто брал Алексея с собой – отчасти из жалости к сироте, отчасти потому, что Якоба наказала присматривать за мальчиком, а отчасти потому,

что часовщики – люди одинокие по роду занятий, и к вечеру им хочется говорить с кем-нибудь, кто умеет слушать.

Алексей умел слушать. Это было его второе, после рук, дарование – он слушал так, что собеседнику казалось, будто его не просто слышат, а вбирают, впитывают, как ткань впитывает краску. Люди рядом с ним начинали говорить больше, чем собирались. Этот дар принесёт ему и друзей, и врагов – но до этого ещё далеко.

Дом Монсов в тот вечер пах воском, хвоей и гвоздикой – гвоздику немцы втыкали в апельсины и вешали на ёлку. Алексей протиснулся к столу, где стояли кувшины с вином. Налил себе кружку и огляделся.

И тут увидел Анну.

Анна Монс, дочь покойного хозяина дома. Двадцать пять лет. Золотые волосы, убранные гладко, туго, ни одного легкомысленного локона, – но лицо было не немецкое. Оно было – вызывающее. Большие светло-серые глаза, которые смотрели так, словно знали о тебе всё и находили это забавным. Полные губы – не поджатые, как у порядочной лютеранки, а чуть приоткрытые, словно она только что произнесла что-то дерзкое и не жалела.

Она была одета в платье голубого шёлка с белыми кружевными манжетами. Платье было хорошее – парижский фасон, модный года три назад, – но сидело скверно. Алексей увидел это мгновенно, как врач видит болезнь: лиф тянул в плечах, талия стояла на два пальца ниже, чем нужно, рукав был слишком тесен в предплечье, а юбка висела мертво, не колыхалась при ходьбе.

Алексей это видел. Другие – нет. Другие видели красавицу в дорогом платье. Он видел красавицу, которую платье предавало.

Но Анна была далеко – через три стола, через толпу, – и Алексей отвернулся, потому что таращиться на возлюбленную государя было занятием не только неприличным, но и потенциально смертельным.

Он допил вино. Налил ещё. Был неосторожен. Кружка была полна до краёв. Он повернулся – и врезался в человека.

Человек был огромен. Длинный, жилистый, с руками, которые, казалось, начинались от ушей и заканчивались где-то у колен. Лицо – широкое, с маленькими, невероятно живыми глазами, усиками, которые торчали, как у кота, и щекой, которая дёргалась – нервный тик, придававший всему лицу выражение постоянного, еле сдерживаемого бешенства или веселья.

Вино – целая кружка – выплеснулось на камзол великана. Камзол был тёмно-зелёного бархата, немецкого покроя, и теперь по его груди расплывалось пятно, красное, как кровь.

Мгновение тишины.

Великан посмотрел вниз, на пятно. Потом – на Алексея. Глазки его сузились, щека дёрнулась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.